



РУССКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ТОЛСТОВСКОГО
ФОНДА

Russische
Bibliothek
Veranstaltungen
Sozialberatung



Николай Васильевич Гоголь.
Рисунок Э. Мамонова. Карандаш. 1852.

**Бюллетень № 142
Сентябрь 2009**

**Bulletin № 142
September 2009**

Das Bulletin wird seit 1975 herausgegeben.
Es erscheint vierteljährlich.
Der Herausgeber ist:

Бюллетень выходит с 1975 г.
Его издает четыре раза в год:

Tolstoi-Bibliothek
Thierschstr. 11
D-80538 München
Tel.: 089/299 775
Fax: 089/2289312

tolstoi@tolstoi-bibliothek.de
www.tolstoi-bibliothek.de

Redaktion und Verantwortung für den Inhalt:
Tatjana Erschow

Главный редактор:
Татьяна Ершова

Владислав Отрошенко

Гоголь и смерть

Эссе

Гоголь умер от литературы. Умер от «Мертвых душ».

С самого начала ему открылись три свойства этой поэмы: 1) торжественная громадность; 2) постоянная отдаленность конца; 3) генетическая принадлежность Небу.

Час, когда произошло открытие, неизвестен. Известен день — 12 ноября 1836 года. Этой датой помечено письмо Гоголя к Жуковскому, которое было отправлено из Парижа. О поэме в письме говорится:

«Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом».

Это было сообщено в ясном и радостном сознании. Не было ни малейших признаков отчаяния или страха перед громадностью, небесностью, нескончаемостью. Гоголь был окрылен. Потому что творение творилось — Гоголю писалось. «"Мертвые" текут живо», — докладывал он Жуковскому в том же письме.

Сейчас хорошо известно, что далеко не всегда поэма текла так, как в 1836 году в Париже и как в последующие четыре года в Риме.

К недостижимому концу «Мертвые души» в разное время и в разных городах Европы текли по-разному, — иногда не текли совсем. Но что бы ни происходило с небо-родной поэмой на земле — в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, России, — Гоголь твердо знал, что он трудится. Работает. Пишет «Мертвые души». Всегда, везде. И это знал не только Гоголь. Это знали все.

С середины 40-х годов поэма потекла так, что Гоголь в работу верить перестал. Вера в планомерную, отмеренную, размеренную, ежедневную и спокойную работу, спасающая романистов во все времена и во всех углах мира, напрочь исчезла из души Гоголя. Явилась другая — небывалая — вера. Гоголь выразил ее в письме к неизвестному адресату, которое было датировано 1846 годом и помещено в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Говоря о причинах сожжения второго тома «Мертвых душ» — «пятилетнего труда, производимого с таким болезненным напряжением», — Гоголь объявил:

«Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет».

Совершится/напишется целый том грандиозного творения — не за несколько лет, как раньше, а за несколько недель.

Каким образом?

Конечно, нельзя отрицать, что у Бога есть разные средства воздействия на Свой мир, в том числе и такие, которые заставляют говорить о чудесных явлениях.

«Мертвые души» должны были писаться. Они должны были писаться быстро и без помех. Потому что они должны писаться не силой будничного труда, а силой божественного чуда, совершающегося в «урочное время».

Это было четвертое свойство поэмы, которое открылось Гоголю и которое, может быть, не всегда проявлялось в полной мере.

В полной мере проявилось другое.

Весной 1845 года Николай Васильевич сообщил в послании из Франкфурта другу души — фрейлине двора, супруге калужского губернатора Александре Осиповне Смирновой:

«Бог отъял на долгое время от меня способность творить».

Умирание Гоголя началось именно с этого времени.

Внешний образ своей смерти, то, как он будет умирать, Гоголь нечаянно обрисовал угадывающим или наколдовывающим пером еще в молодости — в «Старосветских помещиках».

Главные герои — Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович — умирают *ни от чего*, или, как сказал бы доктор Тарасенков, участвовавший в медицинском спасении умирающего Гоголя, от «непреклонной уверенности в близкой смерти».

«Я знаю, что я этим летом умру», — объявляет Пульхерия Ивановна супругу, заверяя его при этом, что она ничем не больна.

«Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть», — произносит Гоголь в четверг 14 февраля 1852 года, за неделю до своей кончины, в то время как сбитый с толку Тарасенков не может обнаружить «никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание», и самым очевидным симптомом остается неизменная картина: Гоголь в полной памяти лежит на диване, не отвечая на вопросы медиков («в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами»), — перечисляет доктор подробности с добросовестной зоркостью, как будто они могут пригодиться для диагноза).

Без тени сомнения, *что так может быть*. Гоголь описывал в «Старосветских помещиках» эту странную уверенность в смерти, приводящую к смерти в обход медицинских причин:

«Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи. <... > Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело».

Современники же, видевшие Гоголя в его предсмертные дни, не в состоянии были поверить в саму возможность такой кончины.

«Он все-таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате совершенно так, как бы здоровый», — уверяет Николай Берг.

«В положении его, мне казалось, более хандры, нежели действительной болезни», вторит ему Степан Шевырев.

Но не только друзья-литераторы не могли заметить в Гоголе болезни; не только квалифицированные доктора, в том числе и знаменитый Иноземцев, «отзывались об ней неопределенно». Даже те два пресловутых лакея (возбужденно описанных Львом Арнольди), которые намеревались насильно поднять Гоголя и поводить его по комнате, — «размотать», «раскачать», чтоб он «очнулся» и «захотел жить», — чуяли чутьем своих организмов, что болезнь здесь отсутствует: «какая у него болезнь-то... никакой нет, просто так...».

Навещавшие дом графа Толстого на Никитском бульваре в февральские дни 1852 года находились не то чтобы в полной — в сокрушительной растерянности. Понять, что происходит с Гоголем, почему он, по его настоятельным словам, близок к смерти (и близок ли), было невозможно. Слова же были впечатляющими. Никакого возражения, и даже обсуждения, они не предполагали, как и слова

Пульхерии Ивановны.

«Надобно же умирать, а я уже готов, и умру», — сказал Гоголь Алексею Хомякову.

Но впечатляющими были и явления.

Вслед за готовностью умереть, не подкреплённой «объективными симптомами», вдруг стало «обнаруживаться», как выразился Михаил Погодин, «совершенное изнеможение». Жизнь вдруг стала неуклонно уходить из Гоголя, так же, как она уходила из Афанасия Ивановича, который через несколько лет после странной смерти супруги и сам странным образом уверовал в скорую кончину, прогуливаясь по саду:

«Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя».

С той же покорностью смерти таял и Гоголь, не желая принимать медицинскую помощь и вступать в разговоры с друзьями, старавшимися по своему «размотать» и «раскачать» его.

Однако покорность возникла не сразу.

Смерти он сопротивлялся без малого семь лет, о чем друзья не подозревали, полагая, между прочим, что второй том «Мертвых душ» сочиняется более или менее благополучно с тех самых пор, как в декабре 1840 года Гоголь в письме к Сергею Аксакову дал знать о продолжении поэмы, которое обещало быть «чище, величественней» и превратиться в «кое-что колоссальное».

С весны 1845 года, когда Гоголю открылось то, о чем он поведал Смирновой, — «Бог отъял на долгое время от меня способность творить»; когда стало ясно, что небесные «Мертвые души» могут на земле не писаться должным образом; когда обнаружилось, что чудесный «урочный час», не подчиняющийся законам земного времени и нормам «болезненного труда», может не наступать смертельно долго, в Гоголе наряду с верой в законное чудо стала возрастать вера в нечто постороннее, не имеющее отношения к свойствам поэмы.

Ему стало вериться, что «Мертвые души» сдвинутся с места и полетят, одолевая колоссальные пространства второго тома, в бесконечную даль, если ему доставят большое количество («кучу», как он выражался) каких-то необыкновенных сведений о России — о ее мужиках, помещиках, взяточниках, должностях, присутствиях, губерниях.

Более того, как свидетельствует письмо, которое он отправил Смирновой зимой 1847 года из Неаполя, им овладела идея, что без «полного знания дела», — то есть без сведений о России от калужской губернаторши и от прочих близких и дальних лиц, — его жизнь как творца, спасающегося творением, уже невозможна.

«Способность создания, — писал он Александре Осиповне, — есть способность великая, если только она оживотворена благословением Бога. Есть часть этой способности и у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее, как следует, в дело. А употребить ее, как следует, в дело я в силах только тогда, когда разум мой озарится полным знанием дела. Вот почему я с такою жадностью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять».

Чтобы не ленились и хотели, он прибегал то к хитрости, то к мольбам, то к гипнотическим заклинаниям.

Конечно, нельзя не заметить, что эта вера находилась в полном противоречии не только с сущностью «Мертвых душ», но и со всем существом их автора.

Гоголь не мог сотворить творения из сведений.

Он сам свидетельствовал о том, что даже проницательный Пушкин до конца не понял главное свойство его таланта — извлекать образы из себя самого. То есть вызывать их к жизни не силой неких точных, добытых прямо из недр действительности сведений, а силой художественной интуиции, связывающей его с Небом, где хранятся слова всех великих поэм и откуда разом видны все помещики, мужики и губернии. Но он продолжал понуждать своих корреспондентов к добыванию, собирательству и доставке этих бессмысленных для его дара сведений. Он желал, чтобы сведения для «Мертвых душ» текли бесперебойным, живым, сверкающим и не показывающим своего конца потоком, как текли когда-то в Париже и в Риме сами «Мертвые души».

Нужно признать, тем не менее, что какой бы драматической и даже трагической ни казалась эта вера в подобие работы над подобием поэмы, она все-таки помогла Гоголю выстоять — замедлить умирание.

Семь лет он уклонялся от послушного таяния и угасания, скрываясь от тех немолимых «Мертвых душ», о свойствах которых ему было известно абсолютно все и которые ни в чем не нуждались, кроме воли Бога вернуть автору «способность творить».

Невозможно сказать, в какое именно время Гоголю открылась тайна того, чем кончатся «Мертвые души» — то есть, конечно, не сама поэма, чуждая по своей небесной природе финальной точки, а углубленная работа над ней. Может быть, это случилось еще в самом начале — той осенью 1836 года, когда в Париже сочинялись первые главы первого тома под диктовку «кого-то незримого». Или позднее — зимой 1843 года в Ницце, когда Гоголь «набрасывал на бумагу», радуясь ясным и безветренным дням, «хаос» второго тома и сообщал между делом в письме к Жуковскому об открытиях, связанных с погружением в поэму:

«Поупражняюсь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозрению великих тайн Божьего создания. И видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит всё тем же: одною полною и благодарною молитвою».

Да, именно так: кончит молитвой... За «полною и благодарною молитвой» последует оставление углубленной работы, а за оставлением работы — смерть.

В последние дни Гоголь часто и подолгу молился, уже не помышляя о какой бы то ни было работе над поэмой, а тем более о спасении медициной или дружескими беседами. Он давно и хорошо знал, что «Мертвые души» — это то творение, от которого умирают, если оно не пишется.

Таково было пятое — главное — свойство поэмы.

От автора \ Это эссе, которое, как я вижу теперь, присоединится к циклу «Гоголиана», начатому мной несколько лет назад, возникло благодаря вопросу, заданному журналом «Знамя» современным писателям: *«Актуален ли сегодня (и лично для Вас) творческий опыт Гоголя и если да, в чем это проявляется?»*. Мой ответ в первую минуту состоял из двух предложений: *«Гоголь умер от литературы. Вот что нужно знать, чтобы знать, актуален ли творческий опыт Гоголя — сегодня, завтра, для кого-нибудь лично»*. Но в следующую минуту мне показалось, что суть дела будет не до конца ясна, если я ограничусь этим высказыванием.

Н.В. Гоголь

АВТОРСКАЯ ИСПОВЕДЬ

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем как указанием свыше — рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осуждениями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон,— словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на внимание всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщение человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо *отчасти*, никак не может быть справедливо *вполне*. Справедливей всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознание искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мнение о своих достоинствах; желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смирение и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и все, что таит внутри человек, выступило наружу; с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что ни есть в душе, просится на свет; ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сра-

внительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.

Но к этому заключению, может быть более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влиянием страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе не приличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочинения моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что Должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состояния. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неумение выражаться — принадлежности не вполне организовавшегося писателя — все это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскивали в тех словах, которые подвинуты были, может быть, совершенно противоположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничиженьем. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в суждениях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противоположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещения народного,— это показалось мне очень странно, тем более что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни

помню, я всегда стоял за просвещение народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещение самого народа, полезней просвещение тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим вниманья к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу¹. Я очень помню и совсем не подзабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значенье поэтические созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствования человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знания эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, вместо того чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знания можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что, прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе применение самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.

Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположении, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубеждение, прежде чем она явилась в свет, и всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубеждение, а самого читателя успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые

¹ На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред того, пред которым ни один человек не бывает прав. (Примеч. я. В. Гоголя.)

доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и притом не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излишнее и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблуждение, как и всякий человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью — это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в -книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие,— исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охудению себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произнесен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего — в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придиричвы сами. Благороден, по крайней мере, тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений,— запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня, чтобы увидал читатель, переменал ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе, так же как и во всем, следует признать участие того, кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объяснением хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно и мне не легко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самих ранних сужденьях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходиться в голову такие глупости. Может быть, с годами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принял за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.) На этот раз и я сам уже задумался серьезно,— тем более что стали приближаться такие годы, когда сам собой

приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самой охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращения: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой нейдет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменял множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как много мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства,— нужно иметь

много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и не мудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сгорал действительно желанием служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить так же службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем чтобы вдали и в уединенье от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатались истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотолу перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни,— словом, чтобы по прочтенье моего сочиненья предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем,— также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидел, что нужно со смехом быть очень осторожным,— тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест и не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил внимание

на узнавание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынноика, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого,— словом, нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитание довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученье пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученье, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу; я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желанье своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем сам сын божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен отец ваш небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничижение паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благостный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякий раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне

мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякий раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения — и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнью, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был — жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к тому, кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми,— и я пришел к тому, который один полный ведатель души и от кого одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными, практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякий должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его как следует, верно, и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры — первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое

было во мне прежде; но сведения эти мне просто нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я *создавал* портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенья, тем у меня верней выходило создание. Мне нужно было знать гораздо больше сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображенья — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображенья мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньем анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззванье ко всем читателям «Мертвых душ» — воззванье несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось под этим предлогом добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку изображении тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень, неподъемность на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтение «Мертвых душ» может расшевелить, особенно если и карандаш и бумага будут при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их все-общую известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известии о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремление преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, что-бы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде чем

произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтение «Мертвых душ» наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе в то время когда писаны были «Мертвые души» произошло некоторое обращение на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что он верным и живым изображением людей, характеров и случаев своего времени может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живность взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для тех, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображением, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отделимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частью избирали эпоху, от нас отделившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас от всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влечения к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к сущности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру. Притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других и стать на такое место, откуда бы я мог увидеть всю массу, а не людей только, где меня стоящих,— как бы, отделившись от настоящего» обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы

теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влечения и страсти к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвованье и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле, тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое течение, которое тревожило иногда и Пушкина,— ехать в чужие края единственно затем, чтобы, по выраженью его,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влечение было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытьем моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться,— точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что, прежде чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях, и, несмотря на то что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях,— и точно, во все время пребывания моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет, не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорченья и, наконец, потребность большего уединенья не заставили меня оставить Россию.

Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частию любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидеть людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и сильнейшее значение,— движенье, вообще

показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, когда всяк рассказывал только то, что видел, слышал на своем веку, и разговор казался собранием анекдотов, а не рассуждением. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом — во все пребыванье мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое: дух мой упал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжение недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству не много возьмешь, останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и в деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал я так сильно потребности знать современное состояние нынешнего русского человека — тем более что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственною рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочинения крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным, будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого

тела, из которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда

только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассуждением и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, держа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека,— словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Кар: воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос. «Зачем?» Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познание души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к тому, кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?

Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление, и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, чтобы она походила на дельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой счет, особенно после завещанья, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам рассматривать ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души» и как уничтожал все, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь

заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить себя, перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другою,— таково ли душевное состояние мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества: благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще, и вслед за тем — для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту сторону, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требования от него слишком велики — и справедливо: для того чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишённые способности *творить*. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться не даром. Нужно, чтобы в создание его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней мере, определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит

пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель, может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку, тогда он выступай на поприще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретную живостью, которая делает то, что изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеется, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом наместо самых жарких рассуждений этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей,— и двери сердец растворятся сами навстречу к принятым им, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильнее такого писателя и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влияние может быть скорее вредно, чем полезно. Это строение себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличнее от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явление, законный ход его необыкновенного организма, состояние временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильнее изменение в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышлении не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблуждение свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово — как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом.

Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле того... помышляю я о своем собственном строении, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят,

остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы,— что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильнее, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы застряли крепко в голове, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, что все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений, а мои убеждения... Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми душами», не могу не возблагодарить за насланное мне внушение их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах». Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных «Мертвых душах» гораздо больше выразалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом — как честный человек, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны, по крайней мере, рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключения, а сам в то же время еще... должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе название Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне не легко отказаться от писательства: одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслажденье *творить*. Но, повторяю вновь как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что,— скажу откровенно,— жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нет лишений, вослед которым нам не посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне,— как

только способность писать меня оставила, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы то ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, которые в нем покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека,— то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий; где я могу употребить с действительной пользой мое знание человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений и что больше нам нужен всякий такой человек, который бы, при некотором познании души и сердца и при некотором знании вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объяснением прекращать можно было много таких дел, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготавливал уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить создания поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равно значительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает, даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключение, проникнут точно любовью к России,— то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю, пристань и твердая земля.

Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русский и кому дорога честь земли русской, должно также брать многие места и должности в государстве, с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила... С другой стороны, я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для...

Как ни бурно нынешнее время, как ни мнутя и ни волнуются вокруг умы, как ни возмущает тебя собственный ум твой, но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать и за который дашь ответ небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и

приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что он знает, что такое жизнь, когда этот один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в нем его божественности, тогда следует поверить ему на слово, даже и в таком случае, если бы он был просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь.

Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших, тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе: нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность как на средство к достиженью не цели земной, но цели небесной, во спасенье своей души — увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как бы устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что, если хотя немного он из того исполнит, все высшие его полюбят. Христианину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что, если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, все это отношение человека к человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности наищекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев, которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбляясь ничем, подавать первому руку на примиренье. Стоит поступать так в продолжение небольшого времени — и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себя, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред ним нищий имеет преимущество: он тоже при должности, он нищий, а потому и знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной.

Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства: что назначенье человека — служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем государю небесному, и потому иметь в виду его закон. Только так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей.

Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, соображаясь с своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратится мне способность писать, набрались бы у меня материалы. Одною из главных причин моего путешествия к святым местам было желанье искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполнение должности, на вступленье в жизнь у самого того, кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы его; поблагодарить за все, что ни случилось в моей жизни; испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготавливал себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик по окончании своего ученья спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца перед тем, как предстоит ему поприще,— почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты? Странно, может быть, то, что я об этом сказал в печатной книге. Но я в то время только что оправился от тяжелой болезни. Я был слаб; я не думал, что буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолвились обо мне те, которых вся жизнь стала одною молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой доигнул в глубину келий и стен затворников, в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней тому, кому мы все молимся. Знаю только то, что наипрезреннейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас и его молитва будет всех ближе к богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай.

Как случилось, что я должен обо всем входить в объяснения с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что, когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими и никто не будет делать запроса: что такое сам автор? — хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочинения связаны тесно с делом моей души. Бог вещь, может быть, и в этом была также воля того, без воли которого ничто не делается на свете; может быть, произошло это именно затем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, как удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно приобрести в обращениях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но когда выставишься перед лицо незнакомых людей, перед лицо всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякий поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки впопад и невпопад, ударят и с умыслом и невзначай по всем чувствительным струнам твоим,— тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать.

Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнееешь больше чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, замышленная от искреннего желания принести пользу другим, книга моя принесла прежде всего пользу мне самому.

Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим, и особенно обществу в его нынешнем, современном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, как-то уже слишком сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на суд перед всю Россию, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями прежде, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписанье многому такого смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти.

Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей книге, если бы только выразился попроще и попримичнее. Учить общество в том смысле, какой некоторые мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам церковь учить друг друга и беспрестанно, умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим братьям, соученикам как равный им соученик; принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов того же учителя, у которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется. Тут были письма, писанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет кричать: «Это мне не нужно!» — и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим учителем. Я думал, что по прочтенье книги будет мне сказано: «Благодарю тебя, брат», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поученье, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданными своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк, кто уже глядит в собственную душу свою.

Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключению, что верховная инстанция всего есть церковь и разрешение

вопросов жизни — в ней. Стало быть, во всяком случае после книги моей читатель обратится к церкви, а в церкви встретит и учителей церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему наместо моей книги другие — позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам.

В заключение всего я должен заметить: сужденья большею частью были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк, укорявший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить суд над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно быть выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по частям на то и на другое, можно давать и мненья и советы; но выводить, основываясь на этих мненьях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели — это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеимен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что, прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать, прежде чем произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека — кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп». Нет, в книге «Переписка с друзьями» как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумение были для меня очень тяжелы, тем более что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их бог никому получить. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной природы человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом.

(1847)

Die Tolstoi-Bibliothek wird gefördert durch:



Die Tolstoi-Bibliothek ist auf Spenden angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns durch eine steuerlich
abzugsfähige Spende auf unser Konto:

Толстовская библиотека нуждается в пожертвованиях.
Все пожертвования списывается с налогов:

Nr. 78 24 302 (BLZ 700 205 00)
Bank für Sozialwirtschaft, München
Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk, e.V.

